

Из очерков, присланных на конкурс

ХОЗЯИН СЧАСТЛИВОГО ВРЕМЕНИ

ВОТ УЖ который год удивленно и почтительно всматривался я в лицо этого человека. Оно многодумно и покойно. Озорно любопытно и зорко внимательно решительно ко всем проявлениям жизни. Скорее всего это лицо учителя. Опытного. Доходчивого и чуть насмешливого в объяснениях. Будто от природы наделенного долготерпением и серьезной любовью к людям... А может, сурового мудрого крестьянина? Из тех, на ком испокон веку держится мир, кому плодородит покорно и самая скупая земля?.. Порой мне видится в нем идеал рабочего с чуждо-руками и светлой головой, управляющего машинами и — государствами.

А в каждодневном театральном общении мы знаем истинного интеллигента, тонкого педагога, великолепного и совершенно земного актера, внешний облик которого напрочь лишен изысканной артистичности, загадочной «уточенности» избранных. Или положительной осанности, приобретаемой иными с популярностью и годами. И лицо его, кажется, вообрало и замечательно соединило в себе надежность и силу, строгость и доброту, и улыбку учителя, крестьянина, рабочего — многие черты обычного сегодняшнего человека, одновременно уверенного в себе и житейски простого. Словом, хозяина своего времени.

Артист Петр Лобода тоже — хозяин.

...«МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ счастливое время», — скажет Ленин в ноябре восемнадцатого, при открытии памятника Марксу и Энгельсу. И потом уже никто не охарактеризует с такой могучей исторической поэтичностью, с такой неожиданной романтикой те годы холода, голода, экономической блокады и интервенции... Но то были еще и первые годы, когда пролетарии впервые прикоснулись к своей мечте, к своему столетиями вызревшему призванию. Счастливое время!

Наступив, оно укреплялось во многих тяжелых битвах, воспитывало поколения победителей, рождало строителей и певцов, достояний этого времени. В ноябре восемнадцатого Петр Лобода, правда, был еще пацаном. И ленинские слова вошли в него позже. Прочно оседали в душе, чтоб навсегда стать собственным убеждением. Началось это в бурном кипении цехов, когда он пришел на «Красный Аксай» рабочим. Потом самоотверженный, яркий кружковец-кузнец комсомолом был послан в ТРАМ как на передовой ударный фронт: даешь социалистическое рабочее искусство в первом театре рабочей молодежи!

В ТРАМЕ учился актерскому мастерству — в ТРАМЕ пролетаризацию и против религии. Агитплакатом и конфертом. За то, чтоб шли в комсомол и чтоб больше угля на-гора! Словом и делом. Днем с шахтерами вгрызались в уголь, поднимались из забоя — спектакль. Вот тогда-то, с первых шагов актерского пути, когда общественное переплавлялось с профессиональным, в повседневных встречах с десятками, сотнями людей разных, новых, колоритных, в учебе до одури, до ломоты в суставах и начиналось то накопление духовных ценностей в самом себе как в человеческой личности и — подспудно, непроизвольно — в актерской кладовой памяти, чувств, — тех ценностей, что потом выплеснутся, оживут в многообразии и неопровержимой достоверности сценических образов.

ТО БЫЛО в 30-е годы. А в 50-е, уже зрелым мастером (любимым он стал давно, едва ли не с первого появления на сцене), он сыграл матроса Рыбакова, роль для него принципиальную. Как для актера. Но еще более как для гражданина, коммуниста.

За годы жизни «Кремлевских курантов» Н. Погодина на разных сценах частенько появлялся Рыбаков, ставший почти традиционным, — «расторопный, преданный порученец» вояды революции, адакий бодренький морячок, которому все нипочем. И не более. Такое прочтение характера раздражало актера: не так, не так! Поверхностно, мелко, неинтересно!

Мысль о счастливом времени, пробуждавшем в людях прежде неведомое им самим, будоражила Лободу. Да, он хотел сыграть простого, обычного человека, но отнюдь не в примелькавшемся, истрепанном значении слова, вполне или невольно намекающем на серость, посредственность, будничность. Его привлекал простой человек — раскрепощенный Революции,

ей, обнаруживший в себе колоссальные запасы духовной и физической энергии созидания. Человек весомый, в полную меру ощутивший свою личную ответственность за судьбы страны, за то, как решится главнейший вопрос эпохи: «Быть ли России?». И настойчиво требующий активности ото всех. Настоящий хозяин времени, которое надо наладить, починить и — подчинить.

Таким Лобода и сыграл Рыбакова. Оттого и Ленин смог говорить с ним, как с равным (а не как с прилежным исполнителем чужой воли только), как с товарищем, с которым они делают одно общее дело. Оттого и истинная, «без единой посторонней мысли» любовь героического матроса, не оробевшего — он запросто завоевывал города! — перед образованной «барышней», но все-таки размышляющего, по себе ли он рубит дерево, — любовь его не просто трогательна, напориста, простодушна. Она крупна.

Она возмущает Рыбакова, но, главным образом, Машу, поднимает ее до высоты, еще не вполне ею заслуженной.

Лучшим достижением Лободы, открывшим драматические глубины его таланта, стал Гордей Позднышев (А. Штейн, «Между ливнями»), которому по праву суждено было возглавить целую когорту хозяев времени, сыгранных Петром Григорьевичем.

Впрочем, когда речь идет об актере такого склада, как Лобода, грешно и несправедливо употреблять двусмысленное слово «играть». Так и тянет от него «лицедейство», ремесленничеством, голый актерской техникой и механической игрой в страсти.

Лобода органически неспособен ко всему этому. Один режиссер очень метко сказал о нем:

— Ему не надо бояться фальши. Он так правдив, что и нарочно не смог бы соврать на сцене.

Пожалуй, самой употребляемой в прессе оценкой работ Лободы за десятки лет было: «пределю просто», «просто, без всякого нажима», «с присущей ему простотой и непосредственностью». И тем не менее, как труден, как сложен всякий раз путь к простоте воплощения, добытой в сложных раздумьях над образом! Лобода принадлежит к тому типу добросовестнейших, дотошных тружеников, которые меньше всего уповают на «искру божию».

Трудно вынашивался и Гордей Позднышев. В колебаниях. «Моя ли это роль? Для такой монументальной фигуры фактуры у меня маловато...». В опасениях: «Ох, не погубил бы пафос, не повис бы он в воздухе...». И не играл Лобода Гордея, нет! Не играл — жил, созидал, творил. И на каждом спектакле — как на премьере. На полном дыхании, будто в первый и последний раз.

Вот он, седой, крижистый, в бушлате и с кольтком на боку, уверенно шагает по весеннему кронштадтскому льду. По заданию Ленина. Он спешит и к жене, к сыну, которых не видал три года. Светлый, по-детски счастливый, ласково треплет по щеке сына, радостно всматривается в него: эка вымахал! — и, конфузясь, сознается виновато, что забыл, вот те крест забыл, сколько парню стукнуло лет. А уже в следующую минуту отчаянно молчит, беспомощно уговаривает сына:

— Ну скажи — врешь...

И, с трудом осознав, что же на умерла от голода и тифа, как подкошенный, падает на лед. Падает комиссар, который на кораблях тонул, в собственной крови захлебывался, которого живьем зарывали, в отхожих топили, генерал Шкуро к хвостам конским вязал, — а он все был жив...

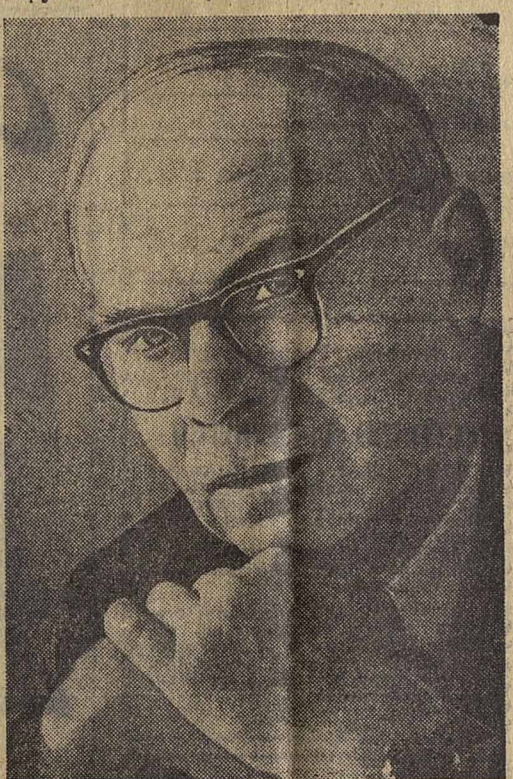
Труднейшее место в роли! Только бы не мелодрама. Только бы это падение не вызвало неловкости в зале». Нет, была неизбежная минута великой слабости большого, сильного человека, минута, которой сам Позднышев тотчас же устыдится, но которая по-человечески так сближала его с залом.

А испытания все наваливаются на Гордея, как глыбы неведомого льда. Сын кидает ему в лицо: «Я-то, батя, не в вашей партии». Утрата тяжкая, перерастающая в исполнении Лобо-

ды рамки семейной драмы. Трагедия человека-борца, для которого самое святое — победа Октября, коммуниста, теряющего в беспощадной борьбе идеологический единственного сына... В ярости замахнулся он на Ивана, как на маленького, и, потрясенный, понял: поздно! Сквозь все круги ада гражданской войны прошел Гордей. А тут переживает гордость, сам унижает свое достоинство, готов перед сыном на колени пасть, только б он, окаянный, не предавал мать и отца, и правду. Мы, зрители, кажется, видим, как разрывается на части его поруганное, но непоколебимое сердце:

— Я ж тебя убивать буду!..

И вот вершина незабываемой жизнеутверждающей трагедии. Слишком поздно прозревший Иван, насмерть раненный бывшим дружкой из анархистской бражки, шепчет предсмертное: «Винку». Но уже не выручит его батя, а только в безмерной тоске прикинется к плечу сына и



из пережатой спазмой глотки вырвется сначала беспомощно: «Мой...», а потом скорбно и гордо: «Мой!». По истеричному морщинами лицу тяжело бороздят след отцовские слезы, а голос наливается, крепчает ленинскими словами.

Такие слезы дорогого стоят. И не лжегероический пафос в последних словах Лободы-комиссара (до разговоров ли отцу у тела холодеющего сына!), а истина, жизнью, кровью и плотью оплаченная истина:

— ...Мы — победим!

БЫЛО БЫ, по меньшей мере, наивным полагать, что лишь в драматических образах, так сказать, «положительных» людей, выражал актер свою гражданскую позицию. Пафос неустанный утверждения добра вдохновлял Лободу и тогда, когда он рисовал какие-то темные стороны жизни, когда воспроизводил «отрицательное». Не копировал, не демонстрировал его бесстрастно. Но, заряженный жадной преобразованием жизни, очищения действительности от всяческой наплевости, от нищих духом, — воинствовал, дрался за свои человеческие убеждения. Актерским беспощадным приговором злу, мастерским вскрытому через конкретные характеры, через точность психологического анализа и точность внешних характеристик.

Так он лепил образ Слепого в «Девятом вале» Юлиу Эдлеса. Слепой у Лободы читался как живучий (но не живой) социальный анахронизм с точным историческим адресом. Уж не переделал ли этот тип смиренного где-то в тени, законсервированный? Может быть, слезка мимикрировала? А в общем ушел в первозданной нетронутости. И явился однажды в сценическом ображении, чтоб напомнить прародителя своего — классического подоплека гражданской войны, так же до страшно-убедительно сыгранного Лободой.

В «Оптимистической трагедии» у него тоже была предельная экономность в подборе выразительных средств, отчего они получали наибольшую нагрузку, художественную и идейную. Рисунок резкий, фиксированный, кажется, единственно возможным.

Шныряющие мышинные глазки, скользкая, голая ухмылка на мокрых губах, надсадно-сиплый голос от стойкого «пережития» двойной порции отборного сифилиса (предмет скромной гордости нашего «героя»). Услужливое заглядывание в глаза Вожака, неотступное холуйское следование за ним «на по-

лусогнутых» — весь в изготове! — в исполнении Лободы естественно обернется тихим предательством. Так же лакейски пригнувшись, он будет пятиться от Вожака, приговариваемого к расстрелу. Но самое староразвращающее в фигуре Сиплого было то, как ловко укрывалась растленная трусливая сволочь под маской своего в доску «братшки», хлебнувшего всяческого лиха, как самозабвенно, с патетической вибриацией и придыханием, выплевывались им трескучие «свободолюбивые» фразы. На логическое разрешение образа: анархизм — удобная цапка для собственной выгоды, для защиты родной шкуры хотя б и ценой предательства целого полка — работал каждый актерский штрих.

Оба характера создавались Лободой с позиции гневного отрицания. Оба оказывались жалкими отбросами. Но если Сиплый был до конца мерзок и гадостен, то Слепой, вначале умиротворенный тем, что «жил по закону, не убил никого», к финалу пожухнет, приблизится к грани трагического осознания бессмысленности, безрадостности своего одинокого и бесплодного существования.

А СКОЛЬКО раз дарил зрителям Лобода щедрую россыпь своего умного юмора, легкого и непринужденного, глубокого и раздумчивого! Какими тайнствами жанра, человеческой природы овладевал он, чтоб вот так держать в руках зрительный зал, как в «Тяжком обвинении» Л. Шейнина? Едва только перепахивает порог раймилитии не ко времени подвыпивший на безгрешные доходишки, малость струхнувший кладбищенский сторож, бывший купец второй гильдии Иван Приходько, еще безмолвно — ошарашенно и отчасти с лукавой готовностью — взвизгивая на «начальство», а зал уже разражается веселыми аплодисментами: образ найден! И донесен с той непосредственностью, безграничной, серьезной верой комического актера в происходящее, при которой самая сложная форма незаметно растворяется в характере персонажа — реальном и неповторимом. И никто не заподозрит мучительных ее поисков, не подумает о том, сколько раз смыкался и расходился занавес, прежде чем сам актер почувствовал удовлетворение сделанным.

Более всего пережито им мук и раздумий, и восторженного упоения ролью, и смущения от сознания скромности собственных сил в дни работы над Щукарем. Потому что образ этот, всенародно любимый, был рожден современником, крупнейшим мастером слова. Потому что он, как никакой другой, требовал полной художественной и гражданской отдачи.

Теперь же, с мудростью знатока человеческих душ, с любовной бережностью вскрывал Лобода диалектику щукаревской души. Лобода вообще никогда не впадает в соблазн (столь коварный и доступный для незаурядного комедийного дарования) — рассмешишь во что бы то ни стало. В шолоховской роли он просто боялся этого.

Его Щукарь получился необыкновенно родным. Сквозь виртуозную, ювелирно-тонкую и крепкую комедийную характерность (воспроизведенную максимумно точно по Шолохову) проступает ясное осознание актером немалой душевной стоимости его героя. Беззлобного, по-детски наивного и мудрого. Отчаянного, «когда разойдётся», и трогательно в горе правдоискателя. Конечно, Щукарь у Лободы пустобрех и балагур. Но куда в большей мере он любознателен и нежно-привязчив, этот одинокий, не знавший человеческого тепла старик. И восторженная мечта его о близком будущем, в котором не будет «ни тебе печали, ни тому подобных воздыханий», стала для Лободы лейтмотивом роли.

Бластательно, уморительно смешно доносит артист сочный, то соленый, то искрометный, народный юмор; а в финале, у молил милых его сердцу товарищей (с ними связывал дед свои новые думы о счастье), Лобода — Щукарь глубоко драматичен. И философски значителен. Его Щукарь — явление в искусстве.

МОГИМ художникам отпущено от природы способностей и талантов вволю.

Но все ли умеют понять их в себе, раскрыть, заставить светиться на радость людям? У всех ли есть, что сказать им? Все ли ясно осознают, на что направить силу своего дарования?

Художник Петр Лобода, великолепный и совершенно земной актер с лицом учителя, крестьянина, рабочего, насковзв реалистичный, народный, партийный, утверждает свой — наш! — идеал человека, созданный революцией, поет время, родившее его и призвавшее служить искусством. Потому что Петр Лобода — хозяин своего таланта. Хозяин своего времени. Он делает все, чтоб оно становилось еще счастливее. И чтоб счастье это — множились. Крепло.

Н. КИДИНА.

На снимке: заслуженный артист РСФСР П. Г. ЛОБОДА.

Фото В. Козловского.

Редактор П. И. БАЛАНДИН.

ВЕЧЕРНИЙ РОСТОВ

3 марта 1967 г. 3 стр.